

Чехов начал печататься очень рано, в двадцать лет. Студент медицинского факультета, он увлёкся необычным для будущего врача занятием ещё до поступления в университет, и все годы учёбы писал не урывками, а систематически и с упоением. Позже, в своей единственной автобиографии, Антон Павлович заметил, что уже в студенчестве его писательство приняло «профессиональный характер». Ко времени появления первой повести «Степь», то есть к двадцати восьми годам, Чехов стал автором рассказов, которые мы читаем сейчас, как русскую классику: «Смерть чиновника» и «Дочь Альбиона», «Толстый и тонкий» и «Хамелеон», «Егерь» и «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев» и «Святою ночью», «Ванька» и «Враги», «Каштанка» и «Спать хочется». Многие из этих рассказов были восторженно приняты крупнейшими писателями. «Около года тому назад, — писал Чехову Дмитрий Григорович, — я случайно прочёл в „Петербургской газете“ Ваш рассказ; названия его теперь не припомню; помню только, что меня поразили в нём черты особенной своеобразности, а главное — замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал всё, что было подписано Чехонте...». Лев Толстой сказал в одном разговоре: «Злоумышленник» — превосходный рассказ... я его раз сто читал». Алексей Плещеев признавался, что при чтении новеллы «Святою ночью» перед ним «незримо витала тень Тургенева. Та же умиротворяющая поэзия слова, то же чудесное описание природы». Немецкий литератор А. Юргенсон делился с Чеховым своим впечатлением: «Это особое искусство — писать маленькие рассказы, и я действительно в восторге от замечательного маленького рассказа „Ванька“. Французский писатель Э. Жалу заметил о новелле „Володя“, главный герой которого, гимназист, покончил жизнь самоубийством: „Я не думаю, что найдётся другое столь же сжатое изображение, так верно и точно показывающее все терзающие юношу волнения, весь его внутренний мир».

Но повесть «Степь» стала для ценителей чеховского таланта особым, ожидаемым триумфом, той большой удачей, к которой молодой писатель шёл. В ней разом явились все достоинства мастера, которые, как драгоценные камешки, были рассыпаны по страницам прежних произведений, а тут оказались в одном дорогом ожерелье.

Какие же это достоинства?

Возьмите перечисленные выше рассказы, прибавьте к ним написанные чуть позже новеллы «Человек в фуляре», «Душечка» и некоторые другие. В каждой из них, всего на нескольких страничках, сжато и выпукло, с необычайной живостью нарисованы запоминающиеся человеческие типы. С первых же рассказов Чехов проявил

дар особой, яркой и точной, изобразительности. Всего несколько авторских штрихов, несколько реплик героя — и перед вами характер, его духовная сущность.

Любой человек имеет свою походку, голос, форму лица, цвет глаз, причёску. И точно так же любой человек имеет свою внутреннюю, нравственную физиономию. Чехов безошибочно улавливал своеобразие именно этой физиономии и мастерски рисовал её. Чуть ли не сразу после публикации рассказов нарицательными образами стали чеховские герои — унтер-офицер Пришибеев, полицейский надзиратель Очумелов, «злоумышленник» Денис Григорьев. И дело не только в том, что жанр юморески требовал от автора заострённой сатирической характеристики героя, так сказать, «сфокусированного», преувеличенного изображения смешных сторон человеческого поведения. Чехов мог и в «серьёзном» рассказе несколькими мазками нарисовать натуру типическую. Почерк оставался тот же: поразительная способность, выделив несколько характерных привычек и наклонностей, создать запоминающийся образ.

В рассказе «Унтер Пришибеев» неисправимый солдафон набросан всего двумя-тремя штрихами.

«Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья!.. Виновен не я, а все прочие. Всё это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мёртвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? — спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взашей...».

Пришибееву объявляют приговор: «на месяц под арест!».

«— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками. — По какому закону?»

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чём-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!».

Но и в рассказе «Душечка» всего лишь дюжина страниц, а перед читателем во всей достоверности и определённости человеческого типа встаёт женский образ, который может быть назван символом необыкновенной верности, душевной привязанности и самопожертвования.

Интересно отнёсся к рассказу Л. Толстой. «Это просто перл, — восхищался он. — Как тонко схвачена и выведена вся природа женской любви». Лев Николаевич включил «Душечку» в сборник «Круг чтения», составленный им, и написал специальное послесловие к рассказу. В этом послесловии он счёл нужным «поправить» Чехова. «Автор, очевидно, хочет посмеяться над жалким, по его рассуждению (но не по чувству), существом „Душечки“, — писал яснополянский мудрец. — Смешна и фамилия Кукина, смешна даже его болезнь и телеграмма, извещающая об его смерти, смешон лесоторговец со своим степенством, смешон ветеринар, смешон и мальчик, но не смешна, а святая, удивительна душа „Душечки“ со своей способностью отдаваться всем существом своим тому, кого она любит».

Способность А. Чехова, о которой мы говорим, блистательно проявилась и в повести «Степь».

\* \* \*

Сюжет произведения позволяет познакомить читателя со многими персонажами. Из уездного города на юге России отправляются в степь два обывателя. Один из них, купец, везёт поступать в гимназию племянника, девятилетнего Егорушку.

Первой же ночью путники догоняют обоз, везущий на продажу шерсть. Дядя сплавляет «подводчикам» (ямщикам) мальчишку, и теперь он до конца поездки будет трястись не в бричке, а на высоком возу, на мягких тюках. Новые попутчики сорванца, их разговоры, жалобы на судьбу, дорожные приключения и степь — необозримая русская степь с июльским зноем, ночной прохладой, загадочными курганами, каменными истуканами, неизвестными птицами, травами и цветами — всё это проходит перед читателем, увиденное как бы двойным зрением: взглядом рассказчика и пытливого мальчугана, открывающего неведомый мир.

А интересно в пути всё — и прежде всего люди, как едущие рядом, так и встречающиеся на оживлённой дороге. Поначалу ближе всех был «экипаж» брички: дядя Иван Иванович Кузьмичов, отец Христофор и кучер Дениска. Купец Кузьмичов, человек прижимистый, курит дешёвые сигары, при расставании с племянником долго роется в мелкой монете и суёт Егорушке лишь гривенник; он немало переживает, что, сбывая шерсть, продешевил. Иван Иванович считает затею сестры — учить Егорушку — блажью, выше всего ставит купеческое звание и уверен, что преуспеть в жизни можно и без гимназии. Он всегда сух и деловит. Отец Христофор, наоборот, склонен к безделью и философствованию, по нему, учение необходимо хотя бы для того, чтобы пускать пыль в глаза в приличном обществе; он добр, приветлив, доволен жизнью и очень рад, что удачно выполнил просьбу зятя: дорого продал шерсть. Как настоящий священник, то есть человек проповедующий, он считает долгом дать Егорушке доброе наставление:

«— Только ты смотри, Георгий, боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь, а Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в учёные и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!».

Подводчики тоже люди своеобразные, каждый на свою колодку. Старик Пантелей, топающий всю дорогу босым, потому что так легче, «слободнее» для его больных ног, всех жалеет, всем желает добра и не прочь поделиться с Егорушкой мудростью, приобретённой за долгую жизнь:

«— ...Одному человеку бог один ум даёт, а другому два ума, а иному и три... Иному три, это верно... Один ум, с каким мать родила, другой от учения, а третий от хорошей жизни. Так вот, братушка, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, и помирать легче. Помирать-то... А помрём все как есть. ...Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лиха, как наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коли хочешь с покаянием умереть, чтобы, стало быть, в чертоги божии запрету тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница. Она, это верно... Потому ей бог в небесех такое положение определил, чтоб, значит, каждый имел полную праву её насчёт покаяния молить».

Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет... Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь, утром, после ночи, проведённой в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все ли они дома?..».

Другой подводчик — Емельян, бывший певчий, «в левой руке держал кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором; изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос».

Этот в любую «чувствительную» минуту порывался петь; песня стала его жизнью, но, потеряв голос, он словно бы потерял и самого себя, свою жизнь.

«— Нету у меня голоса! — сказал он. — Чистая напасть! Всю ночь и утро мерещится мне тройное „Господи, помилуй“, что мы на венчании у Малиновского пели; сидит оно в голове и в глотке... так бы, кажется, и спел, а не могу! Нету голоса!»

Он помолчал минуту, о чём-то думая, и продолжал:

— Пятнадцать лет был в певчих, во всём Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтоб его шут, выкупался в третьем году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Глотку застудил. А мне без голоса всё равно, что работнику без руки».

Третий из обозников, Кирюха, низенький и коренастый, с чёрной окладистой бородой, представлен автором так: «Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливым: в его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость». Когда один из подводчиков убил беззащитного ужа, то Кирюха разразился «басистым кашляющим смехом», а когда в жаркий день полез купаться, то «хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше: глупое, ошеломлённое, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове».

Четвёртый, Вася, с распухшим, подвязанным подбородком, кажется, больше страдал не от собственной боли, а от жестокости к убитому ужю или раздавленной бабочке.

«— Каторжный! — закричал он глухим, плачущим голосом. — За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, ужика убил! А ежели бы тебя так?».

В другой раз он ещё больше удивил Егорушку.

«— Голубушка моя, матушка-красавица, — заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. — Голубушка моя!

Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку.

— Кому это ты? — спросил Кирюха.

— Лисичка-матушка... легла на спину и играет, словно собачка...

Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей... Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои «точкы». Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был ещё другой мир, свой собственный, никому не доступный и, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему».

Пятый ящик — «русый, с кудрявой головой, без шапки и с расстёгнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным; в каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбочивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжёлое и удивить этим мир. Его шальной насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу, ни на чём не останавливался и, казалось, искал, кого бы ещё убить от нечего делать и над чем бы посмеяться». Это именно Дымов со звериной яростью убил ужа, это он ночью у костра вырвал из рук немощного Емельяна его ложку и швырнул далеко в темень. Тогда лицо бывшего певчего «вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало» и он «заплакал как ребёнок». И тогда же не выдержало сердце Егорушки, жестоко раненое несправедливостью; мальчик «шагнул к Дымову и проговорил, задыхаясь:

— Ты хуже всех! Я тебя терпеть не могу!

После этого надо было бы бежать к обозу, а он никак не мог сдвинуться с места и продолжал:

— На том свете ты будешь гореть в аду! Я Ивану Ивановичу пожелаю! Ты не смей обижать Емельяна!

— Тоже, скажи, пожалуйста! — усмехнулся Дымов. — Свинёнок всякий, ещё на губах молоко не обсохло, в указчики лезет. А ежели за ухо?

Егорушка почувствовал, что дышать уже нечем; он — никогда с ним этого не было раньше — вдруг затрясся всем телом, затопал ногами и закричал пронзительно:

— Бейте его! Бейте его!

Слёзы брызнули у него из глаз; ему стало стыдно, и он, пошатываясь, побежал к обозу...».

Наконец, шестой подводчик, Стёпка, незаметный «восемнадцатилетний мальчишкохол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах навывпуск, болтавшихся при ходьбе, как флаги», вероятно, ещё не раскрылся как человек; в артели ямщиков он всё время на подхвате — то в деревню за бреднем сбегает, то поможет перенести рыбу на берег, то немудрящий обед сварит.

И есть ещё встречные-поперечные — люди, на которых Егорушка смотрит с тем же ненасытным любопытством. О, тут попадаются существа необыкновенные, такие, например, как семья содержателя постоянного двора Мойсея Мойсеича.

Сам хозяин ясен с первого взгляда — елеино услужливый, предупредительный, хитрый, играющий в простака:

«Мойсей Мойсеич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко.

— Ах, боже мой, боже мой! — заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. — И такой сегодня для меня счастливый день! Ах, да что же я теперичка должен делать! Иван Иваныч! Отец Христофор! Какой же хорошенький паничек сидит на козлах, накажи меня бог! Ах, боже ж мой, да что же я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу... милости просим! Давайте мне все ваши вещи... Ах, боже мой!».

А братец Мойсея Мойсеича, Соломон, — совсем другая птица, диковинная в той жизни, которая окружает Егорушку, и поначалу непонятная. «Он молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошёл к бричке». Потом, в доме, «ставя на стол поднос, он насмешливо глядел куда-то в сторону и по-прежнему странно улыбался. Теперь при свете лампочки можно было разглядеть его улыбку; она была очень сложной и выражала много чувств, но преобладающим в ней было одно — явное презрение...».

«Отец Христофор беседовал с Соломоном.

— Ну что, Соломон премудрый? — спрашивал он, зевая и крестя рот. — Как дела?

— Это вы про какие дела говорите? — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.

— Вообще... Что подельваешь?

— Что я подельваю? — переспросил Соломон и пожал плечами. — То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата; брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова (скупщика шерсти, — А.Р.), а если бы я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем.

— То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?

— Почему? А потому, что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаку, а если б у меня были деньги, то Варламов передо мной ломал бы такого дурака, как Мойсей перед вами.

Отец Христофор и Кузьмичов переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичов строго и сухо поглядел на него и спросил:

— Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?

— Я ещё не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым, — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. — Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый; вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтоб меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!».

Вот вам мир людей; в повести «Степь» он — не человеческий муравейник, где все существа сливаются в хаотическую массу. Скорее, это россыпь не похожих друг на друга, разнообразных звёзд, притягивающих к себе и завораживающих своим особенным светом или пугающих своим сумрачным, страшным мерцанием.

В сумятице жизни зоркий писатель сумел выделить каждое лицо, заглянуть в каждую душу и сказать читателю: не торопись пройти мимо, остановись и взглядишь в своего собрата; он — поучительная сага, поучительная судьба, в которой ты откроешь для себя и опыт, и пророчество, и указание на счастье, и предостережение о тьме, и путь к исцелению, и многое-многое, что будет полезно тебе.

Алексей Плещеев, прочитавший повесть в рукописи, делясь впечатлением от неё, нашёл точные слова: «Пускай в ней нет того внешнего содержания — в смысле фабулы, — которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неисчерпаемый родник».

Внутренним содержанием были ценны многие рассказы, которые Чехов написал до повести «Степь» и которые подготовили её художественную мощь.

Припомните новеллу «Святою ночью». Герой её, от лица которого ведётся повествование, ждёт пасхальной ночью паром. После долгого ожидания паром приплывает; ведёт его необычный перевозчик — послушник монастыря, стоящего на противоположном берегу реки. Этот молодой мечтательный человек в монашеской рясе и рассказчик беседуют; больше, правда, говорит перевозчик, рассказывая о любимом своём духовнике из монастыря, большом мастере писать акафисты. Повествователь заражается святочным, просветлённым настроением собеседника. С этим настроением он входит в церковь, стоит на службе, плывёт на пароме обратно. Сюжет рассказа предельно прост, никаких внешних событий, кажется, и не происходит, «внешнего содержания», говоря словами Алексея Плещеева, нет. Но внутреннее содержание — светлое глубокое чувство благодарности за земную жизнь, за встречу с редкими, одухотворёнными натурами — всё время присутствует в рассказе, и оно ценней, цельней, благодатней, чем содержание внешнее. Эта особенность отличает и повесть «Степь». При её чтении всё время овеивает, как утренняя прохлада, душевная чистота; утешает мудрое понимание всякого человеческого переживания. Видится в рассказчике человек тонкий, благородный, справедливый; его замечания, оценки, нравственный суд безупречны. Это то восприятие, которое очень хорошо передал Лев Толстой:

«Я давно уже составил себе правило судить о всяком художественном произведении с трёх сторон: 1) со стороны содержания — насколько важно и нужно для людей то, что с новой стороны открывается художником, потому что всякое произведение тогда только произведение искусства, когда оно открывает новую сторону жизни; 2) насколько хороша, красива, соответственна содержанию форма произведения; и 3) насколько искренно отношение художника к своему предмету, то есть насколько он верит в то, что изображает. Это последнее достоинство мне кажется всегда самым важным в художественном произведении. Оно даёт художественному произведению его силу, делает художественное произведение заразительным, то есть вызывает в зрителе, слушателе и читателе те чувства, которые испытывает художник».

Чехов постоянно ищет вместе со своими героями смысл земной жизни, разгадывает тайну человеческого счастья. Один из его ранних рассказов так и назывался: «Счастье». В нём, правда, всё счастье двух пастухов, стерегущих ночью отару овец, заключено в степных кладах, которые — они верят в это свято — зарыты прежними поколениями. Клады эти заговорённые, найти — найдёшь, да без талисмана богатство не даётся в руки. Старик-пастух говорит своему молодому напарнику:

«— Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Так и пропадёт добро задаром, без всякой пользы, как полова или овечий помёт! А ведь счастья много, так много, парень, что его на всю бы округу хватило, да не видит его ни одна душа! Дождутся люди, что его паны выроют или казна отберёт. Паны уж начали курганы копать... Почуяли! Берут их завидки на мужицкое счастье! Казна тоже себе на уме. В законе так писано, что ежели который мужик найдёт клад, то чтоб к начальству его представить. Ну, это погоди — не дождёшься! Есть квас, да не про вас!»

Читателю ясно, что речь, конечно, не о злате-серебре; речь о мужицком счастье, скрытом в тайниках жизни. Сам Чехов в ответ на восторженные слова брата Александра о рассказе писал ему: «Степной субботник (новелла была напечатана в газете „Новое время“, в отделе „Субботники“, и так как действие рассказа происходит в приазовской степи, то это дало автору право назвать его в шутку „степным субботником“, — А.Р.) мне самому симпатичен именно своею темою, которой вы, болваны, не находите. Продукт вдохновения. Квазисимфония».

Люди счастливы одинаково, а несчастны — каждый по-своему, сказал Толстой. Пожалуй, это не так: и представление о счастье у разных людей своё, и счастливы они по-разному. Герой рассказа «Володя», семнадцатилетний гимназист, связывает со счастьем любовь к тридцатилетней замужней Нюте. Короткое свидание с нею в ночной комнате поднимает его на вершину счастья и тут же сталкивает в бездну несчастья:

«Затем Володе показалось, что комната, Нюта, рассвет и сам он — всё слилось в одно ощущение острого, необыкновенного, небывалого счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вечную муку, но прошло полминуты, и всё это вдруг исчезло. Володя видел одно только полное, некрасивое лицо, искажённое выражением гадливости, и сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло...

...А немного погода послышалось мычание коров и звуки пастушеской свирели, солнечный свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни маман, ни все те люди, которые окружали его». Душевное смятение, неудовлетворённость собой, пошлость жизни и взрослых людей, недостижимость другого, «чистого, изящного и поэтического» мира привели юношу к самоубийству.

Но разве не те же душевные потрясения, не то же смятение перед огромной, неведомой, пугающей и зовущей жизнью испытывает во время своего путешествия девятилетний Егорушка? У него другая натура, другой, детский, мир, другое представление о будущей жизни, но как похожи открывшиеся перед ним тревоги и разочарования, свет и тени непонятого, грозного мира!

«Егорушка лежал на спине и, заложив руки под голову, глядел вверх, на небо. Когда долго, не закрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и всё то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далёким и не имеющим цены. Звёзды, глядящие с неба уже тысячи лет, само непонятое небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, гнетут душу своим молчанием;

приходит на мысль то одиночество, которое ждёт каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...».

Писатель честно ведёт своего юного героя по дороге открытий, не приукрашивая людей, сопутствующих ему, не скрывая грязи и тьмы, красоты и света, приготовленных жизнью.

Вот отличный эпизод, в котором томительная, неясная и неотступная жажда счастья объединяет совершенно разных людей. Вечером к костру обозников подошёл молодой парень, Константин, недавно женившийся; подошёл с одной целью — поделиться своей радостью.

«Константин неуклюже высвободил из-под себя ноги, растянулся на земле и подпёр голову кулаками, потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюблённый и счастливый человек, счастливый до тоски; его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что сделать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. Излив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался.

При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошёлся около костра, и по походке, по движению его лопаток видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел.

А костёр уже потухал. Свет уже не мелькал и красное пятно сузилось, потускнело... И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уже видно было дорогу во всю её ширь, тюки, оглобли, жевавших лошадей; на той стороне неясно вырисовывался крест...

Дымов подпёр щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли... Емельян встрепенулся, задвигал локтями и зашевелил пальцами.

— Братцы, — сказал он умоляюще. — Давайте споём что-нибудь божественное!

Слёзы выступили у него на глазах.

— Братцы! — повторил он, прижимая руку к сердцу. — Давайте споём что-нибудь божественное!

— Я не умею, — сказал Константин.

Все отказались; тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание. Он пел руками, головой, глазами и даже шишкой, пел страстно и с болью, и чем сильнее напрягал грудь, чтобы вырвать из неё хоть одну ноту, тем беззвучнее становилось его дыхание...

Егорушкой тоже, как и всеми, овладела скука. Он пошёл к своему возу, взобрался на тюк и лёг. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живёт ласковая, весёлая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил её брови, зрачки, коляску, часы со всадником... Тихая, тёплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать...».

Ни один русский писатель до Чехова, пожалуй, не писал так пронзительно о недостижимости счастья, его хрупкости, если оно досталось кому-то, и его способности мгновенно гибнуть от случайного, непредсказуемого поступка, шага, даже слова. В этом



смысле повесть «Степь» напоминает большое симфоническое сочинение, в котором душевный мир человека стал темой музыкальной, широко развитой и поэтически звучащей. Посмотрите, сколько здесь героев мечтает о счастье или неосознанно стремится к нему. Красивый и наглый Дымов, вероятно, связывает его со своей властью над людьми, со своим физическим превосходством над слабыми. Бывший певчий Емельян мечтает о возвращении голоса и прежнем занятии в хоре. Старик Пантелей ждёт чудесного исцеления, когда ноги опять понесут его по земле, как в молодые годы. Кузьмичов, дядя Егорушки, будет вполне доволен жизнью, если удастся взять высокую цену за товар. Отец Христофор, обласканный судьбой, молит Бога сохранить для него всё так, как есть. Егорушка окажется счастлив только среди близких, заботливых и любящих его людей; несправедливость, грубость, жестокость делают его несчастным.

Голоса всех героев повести звучат в этой симфонии; её музыка соткана из потаённых чувств, явных и скрытых желаний людей, едущих обозом по степи или живущих здесь; и сама степь, древняя, мудрая, много видевшая, откликается на людские мечты и добавляет в звучащую музыку свои неповторимые мелодии.

«Едешь час-другой... Попадается по пути молчаливый старик-курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землёю ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки — степнячки и всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою.

И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полёте ночной птицы, во всём, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни; душа даёт отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознаёт, что она одинока, что богатство её и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь её тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!».

Великая, немереная степь — это та же неохватная жизнь; в ней даже определившиеся судьбы могут получить неожиданное продолжение. Увлечённый работой над своим произведением, захваченный наплывом воспоминаний, которые хлынули из детских и юношеских лет, Чехов решил, что позже он продолжит повесть. «Если она будет иметь хоть маленький успех, — делился Антон Павлович своим замыслом с Плещеевым, — то я положу её в основание большущей повести. Вы увидите в ней не одну фигуру, заслуживающую внимания и более широкого изображения». Писатель даже набросал, что может произойти с каждым из его героев в будущем.

Но, думается, строгий и уже опытный художник взял в авторе верх; то, что читатель воспринял, как открытие, могло потускнеть при любом, даже талантливом, повторении. Чехов отказался от своего плана. В новых произведениях он продолжил свою миссию, начатую в повести «Степь» и предшествующих ей рассказах: открывать жизнь, её тяготы и несчастья, её утешения и красоту. Ибо, по мнению Чехова, «художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какая она есть на самом деле. Её назначение — правда безусловная и честная».

